

ГОЛОСА В ПРОВОДАХ

Алина Сулейманова

Алина Сулейманова

Голоса в проводах

«Автор»

2026

Сулейманова А.

Голоса в проводах / А. Сулейманова — «Автор», 2026

Джек Райли пришёл на ночную смену в тишину. Бывший детектив, он хотел покоя — после двадцати лет работы с мертвецами покой казался роскошью. Заброшенная радиостанция на краю леса, старый пульт, дождь по крыше. Ничего больше. А потом он нашёл катушку. На плёнке — голос человека, который сходит с ума в прямом эфире. Он говорит о лесе, который смотрит. О шуме, который слушает. О стуке — всегда три удара — который звучит в наушниках, в стенах, в голове. Он умоляет: не отвечайте. Если вы ответите, вы станете частью эфира. Джек ответил. Теперь он слышит голоса. Не только в радио — в проводах, в водопроводных трубах, в тишине собственной квартиры. И голоса знают его имя. Голоса говорят то, что он никогда не произносил вслух. Голоса зовут. Так начинается цепь. Шериф, которая не верит в мистику, но видит, как целый город перестаёт спать. Мальчик с самодельным приёмником, который слышал шёпот задолго до того, как научился читать.

© Сулейманова А., 2026

© Автор, 2026

Алина Сулейманова

Голоса в проводах

Глава 1.

Дождь шёл третьи сутки подряд. Не ливень — ливень был бы честнее, — а мелкая, въедливая морось, которая превращала гравийную дорогу в серую кашу, а лес — в тёмный, тяжёлый туннель без конца и без выхода. Такая морось не шумит, не барабанит по крыше, не заявляет о себе громом. Она просто есть — как плесень на стене, как боль в старом суставе, как мысль, от которой не можешь избавиться. Она просачивается сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь время. И если бы кто-то спросил Джека Райли, сколько именно дней длится этот дождь, он бы не ответил. Потому что третий — это было то, что он говорил вслух. А про себя он давно уже сбился со счёта.

Джек Райли сидел в своей будке на окраине города, где находилась старая радиостанция «Голос долины». Город заканчивался именно здесь — не забором, не знаком, не табличкой, а просто переставал быть городом. Дальше начинался лес, и лес этот был настолько плотным, настолько уверенным в себе, что казался не частью пейзажа, а отдельным живым существом, которое просто терпит присутствие людей. Станция давно не вещала в привычном смысле — теперь она ретранслировала автоматические прогнозы погоды и старые записи музыки для немногочисленных фермеров, живущих в радиусе пятидесяти миль. Музыка была из тех, что не запоминается: оркестры шестидесятых, кантри семидесятых, что-то тёплое, ламповое, пахнущее пылью и винилом. Фермеры слушали её в тракторах, в кухнях, в амбарах. Для них «Голос долины» был не радиостанцией, а привычкой. А для Джека — убежищем.

Джек был здесь ночным сторожем. Работа заключалась в том, чтобы проверять показатели на пульте и раз в час обходить здание. Всё. Никаких сменщиков, никаких совещаний, никаких отчётов. Он брал эту работу именно за это. Здание было старым, кирпичным, с высокими потолками и запахом пыли, машинного масла и старого дерева. Запах был многослойным, как геологический срез: верхний слой — пыль и бумага, средний — масло и ржавчина, нижний — что-то древнее, сырое, почти подземное. В коридорах горели лампы дневного света, но некоторые из них мигали, издавая низкий гул, который отдавался в зубах. Джек давно перестал обращать на это внимание. Почти.

Он взял эту работу, потому что хотел тишины. После двадцати лет в убойном отделе, после дел, которые он до сих пор видел во сне — не лицами, а фрагментами, звуками, запахами, — тишина была роскошью. Он не мечтал о покое. Он мечтал о пустоте. О том, чтобы никого не спасать, никого не искать, никого не бояться. Но тишина здесь была неправильной. Она не успокаивала, а давила. Лес вокруг станции стоял стеной, и Джек часто ловил себя на мысли, что деревья слишком близко подступают к окнам, будто хотят заглянуть внутрь. Он говорил себе: это просто игра света, это просто ветер, это просто усталость. Но по ночам, когда дождь стихал, он слышал, как ветки скребут по стеклу. Тихо. Настойчиво. Как будто просились в дом.

В ту ночь он спустился в архив. Это было что-то вроде подвала, только сухое и заставленное стеллажами с катушками, коробками с плёнкой и старыми журналами эфира. Архив был не хаосом, а кладбищем: всё аккуратно, всё подписано, всё забыто. Джек искал зарядку для фонаря — обычную, чёрную, с вечно перекрученным проводом, — когда наткнулся на картонную коробку без маркировки. Она стояла не на полке, а в углу, за стеллажом, как будто её кто-то спрятал. Или забыл. Или оставил намеренно. Внутри лежала одна-единственная катушка. На ней было написано от руки, чернилами, которые уже выцвели до цвета чая: «Эфир. 14.10.1987. Не стирать».

Джек не был сентиментальным. Он знал, что прошлое — это болото: чем глубже заходишь, тем труднее выбраться. Но что-то в этом почерке — дрожащем, будто писавший держал

ручку слишком крепко, будто писал не буквы, а резал по бумаге, — заставило его остановиться. Он провёл пальцем по надписи. Чернила были шершавыми, как старая рана. Он взял катушку и поднялся в аппаратную.

Там стоял старый магнитофон, который использовался для резервных записей. Он был тяжёлый, серый, с кнопками, которые нужно было продавливать с усилием. Джек зарядил плёнку и нажал «Play». Магнитофон щёлкнул, зашипел, зажужжал — и ожил.

Сначала был только шум. Белый шум, шипение, треск. Потом — голос. Мужской, усталый, но с той особой интонацией, которая бывает у людей, говорящих в микрофон ночью, когда думают, что их никто не слышит. Голос был негромкий, но не робкий. Он был как человек, который уже принял решение и теперь просто объясняет его.

«...я не знаю, сколько ещё это продлится. Я сижу здесь, в этой будке, и смотрю на лес. Он смотрит на меня. Я знаю, это звучит безумно, но я чувствую, что он ждёт. Ждёт, когда я выключу свет. Ждёт, когда я усну. Ждёт, когда я сломаюсь».

Джек нахмурился. Это была не музыка и не прогноз погоды. Это была исповедь. Он прибавил громкость. Динамик хрипел, но голос становился всё отчётливее, будто плёнка сама хотела, чтобы её услышали.

«Они говорят, что я должен закончить смену. Но смена никогда не закончится. Я понял это сегодня. Я понял, что мы не одни в этом эфире. Там, между частотами, есть... что-то. Оно слушает. И оно учится. Оно повторяет за мной. Сначала слова. Потом мысли. А теперь...»

Пауза. Дыхание. Тяжёлое, с хрипом. Джек слышал, как человек на плёнке сглатывает. Как будто ему трудно говорить. Как будто слова даются ему не так, как раньше.

«...теперь оно стучит. Три раза. Всегда три раза. Я слышу это в наушниках. Я слышу это в стенах. Я слышу это в своей голове. Если вы это слышите... не отвечайте. Не отвечайте на стук. Потому что если вы ответите...»

Плёнка оборвалась. Резко, на полуслове. Тишина в аппаратной стала густой, как желе. Джек сидел, не двигаясь, и слушал, как дождь барабанит по крыше. Он ждал, что плёнка зашипит снова, что голос вернётся, что будет хоть какое-то объяснение. Но плёнка молчала. Магнитофон гудел. Индикаторы горели ровным зелёным светом. Всё было в порядке.

Три раза.

Он машинально посмотрел на пульт. Стрелки не дрожали. Лампочки не мигали. Но где-то в глубине здания, в коридоре, который он только что прошёл, что-то стукнуло.

Один раз.

Джек замер. Он знал этот звук. Не скрип, не шорох, не ветка по стеклу. Стук. Сухой, короткий, как будто кто-то приложил костяшки пальцев к дереву. Внутри здания. В коридоре. За его спиной.

Два раза.

Он медленно повернул голову к двери. Дверь была приоткрыта. Он точно помнил, что закрывал её. Или не помнил? Джек сглотнул. В горле было сухо. Он смотрел на тёмную щель между дверью и косяком, и ему казалось, что щель смотрит на него в ответ. Не глазами. Чем-то другим. Чем-то, что не имеет названия.

Три раза.

Тишина. Дождь. Гул лампы. И где-то в глубине коридора — шаги. Не тяжёлые, не быстрые. Мягкие. Уверенные. Как будто кто-то шёл не спеша, зная, что ему никуда не нужно торопиться. Как будто он шёл к Джеку.

Джек не верил в призраков. Он верил в людей. В их злобу, в их страх, в их способность делать ужасные вещи. Но это... это не было похоже на человека. Человек дышит. Человек колеблется. Человек оставляет следы. А этот звук был слишком ровным. Слишком правильным. Слишком терпеливым.

Он встал. Медленно. Кресло скрипнуло, и этот скрип показался ему оглушительным. Он подошёл к двери. Пол был холодный, хотя здание отапливалось. Холод шёл снизу, откуда-то из-под пола, из фундамента, из земли. Джек положил руку на дверную ручку. Металл обжёг пальцы. Он потянул дверь на себя.

Коридор был пуст. Лампы мигали, одна за другой, как будто передавали друг другу сигнал. В дальнем конце, у поворота, стояла тень. Не человек. Просто тень. Но она была слишком густой для тени. Слишком плотной. И она не двигалась.

Джек смотрел на неё. Тень смотрела на него. И в этот момент он понял, что голос на плёнке был не исповедью. Это было предупреждение. И он его не послушал.

Он сделал шаг назад. Потом ещё один. Потом закрыл дверь. Медленно, без стука. И прижался к ней спиной. Сердце билось где-то в горле. Дождь барабанил по крыше. Магнитофон в углу всё ещё гудел.

Три раза.

Джек закрыл глаза. Он знал, что не уснёт. Он знал, что смена не закончится. Он знал, что теперь он тоже часть этого эфира. И где-то между частотами, в белом шуме, кто-то очень внимательно слушал, как он дышит.

Глава 2.

Джек не пошёл на стук. Не потому, что был трусом, — двадцать лет в убойном отделе не оставляют места для трусости, — а потому, что слишком хорошо знал: некоторые двери лучше не открывать. За ними не всегда стоит человек. Иногда за ними стоит вопрос, на который не хочешь знать ответ. Он просидел в аппаратной до рассвета, держа в руке старую бейсбольную биту, которую нашёл в углу. Бита была обмотана потертой изоляцией, и на ней виднелись тёмные пятна — то ли ржавчина, то ли что-то старше ржавчины. Джек держал её так, как держат не оружие, а оберег: не для того, чтобы ударить, а для того, чтобы помнить, что он ещё может ударить. Стук не повторился. Но и тишина не вернулась. В вентиляции появился новый звук — тихое, ритмичное поскрипывание, будто кто-то водил ногтем по жести. Медленно. Терпеливо. Туда. Обратно. Туда. Обратно. Как будто считал. Как будто ждал, когда Джек начнёт считать вместе с ним.

Джек не считал. Он смотрел на пульт, на ровные зелёные огоньки, на стрелки, которые не дрожали, и говорил себе: это здание. Старое здание. Металл расширяется, сжимается, скрипит. Это физика. Это не что-то. Это ничего. Но слова падали в пустоту и не оставляли эха. К рассвету дождь стих. Небо стало не светлее, а просто менее чёрным — серым, как изнанка старого матраса. Джек вышел на крыльцо. Лес стоял стеной. Мокрый, тёмный, молчаливый. И где-то в глубине, между стволами, ему почудилось движение. Не шаг. Не вздох. Просто смещение тени. Он вернулся внутрь и запер дверь на оба замка.

Утром пришёл сменщик, Томми, молодой парень с вечным недосыпом и наушниками в ушах. Томми был из тех людей, которые не замечают ничего, потому что слишком заняты тем, что происходит у них в голове. Он поздоровался кивком, налил себе кофе из автомата, который вечно плевался горячей водой, и уселся за пульт с видом человека, которому здесь всё давно знакомо и глубоко безразлично. Он не заметил ничего странного. Ни в здании, ни в Джеке. А если и заметил, то не подал вида. Джек не стал рассказывать про запись. Он сам не понимал, что это было — чья-то злая шутка, старая запись сумасшедшего или что-то хуже. Хуже — это слово он произносил про себя, и оно оставляло во рту вкус металла. Он просто кивнул Томми, сказал: «Всё тихо», — и вышел в утро. Но катушку забрал с собой. Он не думал об этом. Рука сама взяла её с магнитофона, сунула во внутренний карман куртки. Как будто катушка была не уликой, а долгом.

Дома, в своей квартире над круглосуточным магазином, Джек подключил старый кассетный магнитофон, который остался от отца, и переписал плёнку на кассету. Магнитофон был

громоздкий, чёрный, с кнопками, которые нужно было продавливать с усилием, и с кассетным отсеком, который открывался с тяжёлым щелчком, как будто не хотел отдавать то, что внутри. Джек сидел на полу, скрестив ноги, и слушал. Он слушал её снова и снова. Не потому, что хотел понять. А потому, что не мог остановиться. Голос менялся. Сначала он был просто усталым — как у человека, который давно не спал и уже не помнит, что такое тишина без гула. Потом — испуганным. Потом — умоляющим. А в конце, на последних секундах, прежде чем плёнка обрывалась, голос становился... другим. Более низким. Более ровным. И в нём слышалась улыбка. Не радость. Не облегчение. Просто улыбка — как у человека, который нашёл то, что искал, и теперь может позволить себе быть спокойным.

«...спасибо, что слушаешь. Теперь я не один».

Джек выключил магнитофон. В комнате было тихо. Слишком тихо. Он жил на оживлённой улице, но сейчас не слышал ни машин, ни людей. Ни шагов на лестнице, ни музыки из магазина, ни сирен, ни смеха, ни ругани, ни жизни. Только гул в ушах — тот самый, который бывает, когда долго сидишь в полной тишине. И этот гул был не пустым. В нём что-то было. Что-то на грани слышимости. Как будто кто-то очень тихо повторял одно и то же слово. Джек не мог разобрать, какое. И, честно говоря, не хотел.

Он посмотрел на кассету. На ней не было никаких надписей, кроме той, что он сделал сам: «Эфир 87». Чернила были его, буквы были его, но ему казалось, что он держит в руках что-то чужое. Что-то, что теперь принадлежит не ему. Он положил кассету на стол. Она лежала там, чёрная, блестящая, как маленький саркофаг. Он смотрел на неё и думал: это просто пластик. Это просто магнитная лента. Это просто звук. Но в голове у него звучал другой голос — тот, что был на плёнке. И этот голос говорил: «Ты уже слушаешь. Ты уже часть эфира».

В дверь постучали.

Три раза.

Джек вздрогнул. Он жил на втором этаже, и входная дверь была внизу, за магазином. Стук раздался прямо в его квартиру. Не в дверь подъезда. Не в дверь магазина. В его дверь. Он подошёл к двери и посмотрел в глазок. На лестничной клетке никого не было. Только тусклая лампочка мигала, отбрасывая тени на стены. Тени были длинные, кривые, как будто стены вытягивались в темноте. Джек смотрел в глазок долго. Он ждал, что кто-то появится. Что кто-то выйдет из-за угла. Что кто-то постучит снова. Но никто не появился. И это было хуже, чем если бы появился.

Джек отступил. Он был детективом. Он знал, что делать. Он проверил окна, проверил замки. Все было заперто. Он проверил балкон — заперт. Он проверил вентиляцию — закрыта решёткой. Он проверил даже шкафы и под кроватью, хотя сам себе не мог объяснить, зачем. Это была привычка. Это была дисциплина. Это был способ не думать о том, что стук был не снаружи, а внутри. Он сел в кресло и просидел так до вечера, глядя на кассету, лежащую на столе. Свет за окном менялся: сначала серый, потом жёлтый, потом оранжевый, потом снова серый, потом чёрный. Джек не вставал. Он не ел. Он не пил. Он просто сидел и смотрел на кассету, как будто она была не предметом, а существом. Как будто она могла первой отвести взгляд.

Когда стемнело, он включил магнитофон снова.

Плёнка была пуста. Абсолютно. Ни шума, ни голоса. Только чистое, стерильное шипение. Как будто запись стёрли. Как будто её никогда и не было. Джек уже хотел выключить, уже потянулся к кнопке, когда услышал. Сквозь шипение. Сквозь белый шум. Свой собственный голос. Записанный сегодня. Его дыхание, его шаги по квартире, его мысли, которые он не произносил вслух. Он слышал, как он ходил к двери. Как он проверял замки. Как он сел в кресло. И потом — голос. Его голос. Но не его слова.

«...я знаю, что ты слушаешь. Я знаю, что ты боишься. Это нормально. Я тоже боялся. Но теперь я понимаю. Это не конец. Это начало».

Джек вырвал кассету из магнитофона и швырнул её в стену. Пластик треснул, лента рассыпалась по полу, как чёрные змеи. Она лежала на паркете, блестящая, извилистая, живая. Джек смотрел на неё и ждал, что она поползёт. Она не поползла. Но и не исчезла. Она просто лежала. И это было хуже всего.

В наступившей тишине он услышал, как внизу, в магазине, зазвонил телефон. Ночью. В магазине, который был закрыт. Телефон звонил громко, настойчиво, как будто знал, что его услышат. Джек не стал отвечать. Он сидел в кресле и смотрел на рассыпанную ленту. Телефон звонил три раза и замолчал.

Три раза.

Джек закрыл глаза. В голове у него всё ещё звучал голос. Не тот, что был на плёнке. Не тот, что был на кассете. Его собственный. Но с той самой улыбкой. И где-то в глубине квартиры, в вентиляции, в стенах, в белом шуме, который никогда не заканчивается, кто-то очень внимательно слушал, как он дышит.

Глава 3.

Джек попытался вернуться к нормальной жизни. Не потому, что верил в неё, — вера давно кончилась, как кончается соль в солонке, незаметно и в самый неподходящий момент, — а потому, что не знал, что ещё делать. Нормальность была не целью, а привычкой. Просыпаться. Бриться. Надевать куртку. Идти. Он ходил на работу, проверял пульт, обходил здание. Но теперь он делал это с фонарём и диктофоном в кармане. Фонарь был тяжёлый, металлический, с холодным корпусом; диктофон — маленький, серый, из тех, что покупают студенты на лекции. Он начал записывать всё, что происходило вокруг. Каждый скрип, каждое мигание лампы, каждый вдох. Он говорил вслух, комментируя свои действия, будто пытался перебить чужой голос в эфире. «Я в коридоре, — говорил он. — Северное крыло. Три двери. Все заперты. Всё в порядке». Он произносил это ровным голосом, как диспетчер, как человек, который ведёт протокол. Но за словами, под словами, между словами было другое: молитва. Он не молился Богу — он молился тишине. Просил её вернуться. Просил её снова стать пустой.

Это не помогало.

Стук повторялся. Не каждую ночь, но достаточно часто, чтобы Джек перестал спать. Он слышал его в вентиляции — там, где металлические решётки дрожали от сквозняка и где поскрипывание превращалось в ритм. Он слышал его в стенах — глухое, далёкое, как будто кто-то стучал с другой стороны кирпича, изнутри, из земли. Он слышал его в телефонной трубке — короткий, сухой звук перед гудком, будто кто-то на другом конце провода проверял, на месте ли он. Три удара. Всегда три. Ни больше, ни меньше. Как будто кто-то очень терпеливый считал до трёх и начинал заново. Как будто кто-то знал, что четвёртый удар Джек не выдержит.

Он начал искать информацию о станции. Не из любопытства — любопытство давно перегорело, — а из того же инстинкта, который двадцать лет водил его по чужим квартирам, по чужим жизням, по чужим тайнам. Инстинкт детектива: если что-то не сходится, значит, где-то есть вторая версия. В городской библиотеке он нашёл старые подшивки газет. Библиотека была старая, с высокими потолками и запахом бумаги, которая стареет медленно и достойно. Джек сидел за столом у окна, листал страницы, и пыль от газет ложилась ему на пальцы, как пепел. В октябре 1987 года на станции произошёл пожар. Небольшой, в подвале. Так писали. «Незначительное возгорание», «оперативно локализовано», «ущерб минимален». Но в конце заметки, мелким шрифтом, почти шёпотом: погиб один человек — ночной радист. Джек читал это слово — «радист» — и чувствовал, как что-то внутри него сжимается. Он искал фамилию. Буквы расплывались, как будто газета не хотела отдавать имя. Но он нашёл фотографию. Мужчина лет сорока, с усталыми глазами и плотно сжатыми губами. Глаза смотрели в объектив, но

не видели его. Они смотрели мимо. Куда-то за кадр. Куда-то в лес. На обороте было написано от руки: «Последняя смена».

Джек попытался найти архивные записи эфира за ту ночь. Он звонил, писал, приходил. Ему отвечали вежливо и пусто: «Все плёнки были уничтожены при пожаре». Он спрашивал снова. Ему отвечали то же самое, но чуть быстрее. Он спрашивал в третий раз. Ему отвечали молчанием. И только один человек — старик в архивном отделе, с руками в пигментных пятнах и глазами, которые помнили больше, чем говорили, — сказал тихо, почти неслышно: «Все, кроме одной. Одну кто-то забрал». Джек спросил: кто. Старик посмотрел на него долго и сказал: «Ты уже знаешь».

Он вернулся на станцию ночью. Не в свою смену — в чужую. Томми удивился, но не спросил. Томми вообще редко спрашивал. Он просто пожал плечами, отдал ключи и ушёл, унося в ушах свою музыку, которая, наверное, была громче, чем всё, что происходило в этом здании. Джек остался один. В архиве он нашёл ещё одну коробку. Она стояла на верхней полке, задвинутая в самый угол, как будто её прятали не от людей, а от времени. В ней лежали катушки с записями разных лет. Джек взял одну наугад. Плёнка была холодная, как будто её держали в холодильнике. Он поставил её на магнитофон.

Это был эфир 1987 года. Тот же голос. Тот же мужчина. Но теперь он говорил спокойно, почти нежно. Как говорят с человеком, которого давно ждали и наконец дождались. Как говорят с тем, кто пришёл сам.

«...я знаю, что ты придёшь. Ты уже здесь. Ты слушаешь. Ты думаешь, что это просто запись. Но это не так. Это дверь. И ты её открыл. Теперь ты часть эфира. Ты часть тишины. Ты часть меня».

Джек выключил запись. В аппаратной стало холодно. Не сыро, не зябко — холодно, как в морге, как в комнате, где давно никто не дышал. Он посмотрел на пульт. Индикаторы мигали. Не зелёным, а красным. Все. Частота показывала нули. Станция не вещала. Но где-то в глубине здания, в темноте, кто-то говорил. Голос был негромкий, ровный, знакомый. Голос был его собственный.

«...я знаю, что ты слушаешь. Я знаю, что ты боишься. Это нормально. Я тоже боялся. Но теперь я понимаю. Это не конец. Это начало».

Джек вышел из аппаратной и пошёл по коридору. Лампы мигали в такт его шагам. Одна. Другая. Третья. Как будто здание дышало. Как будто оно шло вместе с ним. В конце коридора была дверь, которую он никогда не замечал раньше. Она была приоткрыта. За ней была темнота. Не пустая, а плотная, как чёрная вода. Темнота, которая не ждёт, а приглашает. Темнота, которая знает, что ты войдёшь.

Он сделал шаг вперёд.

И услышал стук.

Один раз.

Он остановился.

Два раза.

Он посмотрел на дверь.

Три раза.

Он ответил.

Глава 4.

На следующее утро Томми пришёл на смену и нашёл аппаратную пустой. Он не удивился. Томми вообще редко удивлялся — не потому, что был суніс, а потому, что удивление требует сил, а сил у него никогда не было. Он жил в режиме экономии: экономил слова, экономил эмоции, экономил движения. Мир для него был фоном, а фон не нуждается во внимании. Но пустая аппаратная всё же заставила его на секунду замереть. Не потому, что Джек ушёл раньше

— Джек мог уйти когда угодно, он был странный, — а потому, что в комнате было слишком тихо. Не просто тихо. Абсолютно. Как будто звук выключили не на пульте, а во всём здании сразу. Томми стоял в дверях, слушал эту тишину и ждал, что она заговорит. Она не заговорила. Тогда он пожал плечами — жест, который заменял ему целый словарь, — и вошёл.

Пульт работал. Индикаторы горели зелёным. Ровным, спокойным, почти насмешливым светом. Стрелки не дрожали, частота держалась, динамики молчали. Всё было в порядке. Слишком в порядке. Как будто кто-то нарочно привёл комнату в идеальное состояние, чтобы никто не задавал вопросов. Томми снял куртку, бросил её на спинку кресла, налил себе кофе из автомата — тот плевался горячей водой и шипел, как рассерженный кот, — и только потом заметил на столе катушку. Она лежала точно по центру, как будто её положили не случайно, а с умыслом. Как будто её оставили для него. На ней было написано от руки, чернилами, которые ещё не успели высохнуть до конца: «Эфир. Сегодня. Не стирать».

Томми пожал плечами и поставил её на полку. Он не любил старые записи. Не потому, что они были плохие, — просто они были старые. Они пахли пылью, они хрипели, они тянули время назад. А Томми жил только вперёд. Вернее, он жил только сейчас — в наушниках, в музыке, в ритме, который не давал ему думать. Он сел в кресло, надел наушники, включил радио и настроился на волну станции. Шёл прогноз погоды. Голос диктора был ровный, тёплый, безликий: «...облачность с прояснениями, к вечеру возможен дождь, ветер северо-западный, умеренный...» Томми слушал вполуха. Потом была музыка. Оркестр, что-то из шестидесятых, с медными трубами и лёгкой грустью. Потом — тишина.

А потом, сквозь шипение, он услышал голос. Мужской, усталый, но с той особой интонацией, которая бывает у людей, говорящих в микрофон ночью, когда думают, что их никто не слышит. Голос был негромкий, но не робкий. Он был как человек, который уже принял решение и теперь просто объясняет его. Как человек, который говорит не с микрофоном, а с кем-то очень далёким. Или очень близким.

«...я не знаю, сколько ещё это продлится. Я сижу здесь, в этой будке, и смотрю на лес. Он смотрит на меня. Я знаю, это звучит безумно, но я чувствую, что он ждёт. Ждёт, когда я выключу свет. Ждёт, когда я усну. Ждёт, когда я сломаюсь».

Томми улыбнулся. Он любил старые записи. Не за содержание — за фактуру. За шорох, за треск, за то, как плёнка дышит. В этом было что-то тёплое, ламповое, почти уютное. Как старый плед, который пахнет пылью и детством. Он прибавил громкость. Голос стал ближе. Теперь он звучал не из динамика, а как будто из самой комнаты. Как будто человек сидел рядом, в кресле, и говорил с Томми, глядя ему в глаза.

«...они говорят, что я должен закончить смену. Но смена никогда не закончится. Я понял это сегодня. Я понял, что мы не одни в этом эфире. Там, между частотами, есть... что-то. Оно слушает. И оно учится. Оно повторяет за мной. Сначала слова. Потом мысли. А теперь...»

Пауза. Дыхание. Тяжёлое, с хрипом. Томми слышал, как человек на плёнке сглатывает. Как будто ему трудно говорить. Как будто слова даются ему не так, как раньше. Как будто он говорит не своим голосом.

«...теперь оно стучит. Три раза. Всегда три раза. Я слышу это в наушниках. Я слышу это в стенах. Я слышу это в своей голове. Если вы это слышите... не отвечайте. Не отвечайте на стук. Потому что если вы ответите...»

Плёнка не оборвалась. Она просто продолжила шипеть. Белый шум, ровный, стерильный, как будто запись никогда и не начиналась. Томми снял наушники. В аппаратной было тихо. Слишком тихо. Он посмотрел на пульт. Индикаторы горели зелёным. Стрелки не дрожали. Всё было в порядке. Он посмотрел на полку, где стояла катушка. Она стояла там, чёрная, блестящая, как маленький саркофаг. Томми смотрел на неё долго. Потом перевёл взгляд на дверь. Дверь была приоткрыта. Он точно помнил, что закрывал её. Или не помнил? Томми не был уверен. Томми вообще редко был уверен в чём-либо.

Он встал. Медленно. Кресло скрипнуло, и этот скрип показался ему оглушительным. Он подошёл к двери. Пол был холодный, хотя здание отапливалось. Холод шёл снизу, откуда-то из-под пола, из фундамента, из земли. Томми положил руку на дверную ручку. Металл обжёг пальцы. Он потянул дверь на себя.

Коридор был пуст. Лампы мигали, одна за другой, как будто передавали друг другу сигнал. В дальнем конце, у поворота, стояла тень. Не человек. Просто тень. Но она была слишком густой для тени. Слишком плотной. И она не двигалась. Томми смотрел на неё. Тень смотрела на него. И в этот момент он понял, что голос на плёнке был не записью. Это было приглашение. И он его принял.

Он сделал шаг назад. Потом ещё один. Потом закрыл дверь. Медленно, без стука. И прижался к ней спиной. Сердце билось где-то в горле. В аппаратной было тихо. Магнитофон в углу всё ещё гудел. Катушка на полке стояла неподвижно.

Три раза.

Томми закрыл глаза. Он знал, что не уснёт. Он знал, что смена не закончится. Он знал, что теперь он тоже часть этого эфира. Где-то в глубине здания, в темноте, кто-то улыбнулся в ответ. И эта улыбка была не злая. Не добрая. Просто улыбка человека, который наконец-то не один.

Глава 5.

Городок назывался Милтон-Фоллс, но местные называли его просто — Развилка. Название было честнее официального. Милтон-Фоллс звучало как что-то из открытки: водопад, мельница, мостик, утки. А Развилка говорила правду. Две дороги, которые расходились в разные стороны и никогда больше не встречались. Заправка с одной колонкой, которая работала через раз. Церковь с покосившимся крестом, который никто не поправлял, потому что все привыкли. Школа, где учителя менялись чаще, чем учебники. И лес, который подступал со всех сторон, как осада. Не как фон, не как пейзаж — как армия, которая не штурмует, а просто стоит и ждёт. Двенадцать тысяч человек. Половина работала на лесопилке, которая закрылась три года назад. Вторая половина — в магазинах, в школе, в больнице. И почти все слушали «Голос долины».

Не потому, что там была хорошая музыка. Музыка была старая, потёртая, как пальто, которое носят слишком долго. Не потому, что там были свежие новости. Новостей не было вовсе. А потому, что это был единственный сигнал, который ловился в этих лесах. Провода тянулись вдоль старого шоссе, и если ты жил достаточно далеко, ты мог поймать только одну волну. Волну, которую вёл... никто не вёл. Просто музыка. Прогноз погоды. Иногда — странные помехи. Помехи были разные: треск, свист, шёпот. Иногда в них слышались слова. Но люди не вслушивались. Люди привыкли. Люди вообще ко многому привыкают, если это происходит достаточно долго и не мешает спать.

Бенни Хоуку было двенадцать. Он жил с бабушкой в доме на краю леса, в двух милях от станции. Дом был старый, деревянный, с скрипучими половицами и печкой, которая дышала теплом, как живое существо. Его родители уехали в Калифорнию и обещали вернуться. Это было четыре года назад. Бенни не злился. Злость требует энергии, а энергию он тратил на другое. Он просто перестал ждать. Ждать — это как держать дверь открытой в холод: рано или поздно пальцы коченеют, и ты закрываешь её сам. Бенни закрыл. Но не до конца. Где-то в глубине, в самой тёмной комнате себя, он всё ещё оставлял щёлку. На всякий случай. На тот случай, если кто-то всё-таки вернётся.

У него был старый радиоприёмник, который он собрал сам из деталей, найденных на свалке. Корпус — от старого приёмника «Восток», верньер — от чужого, лампы — от третьего, провода — от четвёртого. Он собирал его год, паял, перепаяивал, ругался, снова паял. И когда он наконец поймал первую волну, он почувствовал себя не мастером, а волшебником. Он любил

слушать эфир по ночам. Не музыку. А то, что было между песнями. Тишину. Шипение. Иногда — голоса.

Бенни знал, что в эфире есть голоса. Он слышал их с тех пор, как ему исполнилось десять. Сначала он думал, что это помехи от дальних станций. Потом — что это чьи-то разговоры, случайно попавшие в диапазон. Но голоса отвечали ему. Они говорили его имя. Они говорили вещи, которые он никому не рассказывал. Они знали, что он боится темноты. Они знали, что он до сих пор хранит фотографию родителей под подушкой. Они знали, что он плачет, когда никто не видит. И они не смеялись. Они говорили: «Не бойся. Ты не один. Мы все здесь. Мы все часть эфира». Бенни не рассказывал об этом никому. Не потому, что боялся, что не поверят. А потому, что не хотел, чтобы голоса замолчали. Они были его secret. Его друзья. Его семья.

В ту ночь, когда Джек Райли впервые услышал стук, Бенни сидел на крыльце с приёмником и наушниками. Бабушка спала. Лес стоял тёмный и плотный, и где-то в глубине его что-то двигалось — не животное, а что-то большее, медленное, как тектоническая плита. Что-то, что не спешило. Что-то, что знало, что всё равно дождётся. Бенни крутил верньер. Шипение. Щелчок. Голос.

«...он пришёл. Ночной сторож. Он нашёл катушку. Он слушает. Он почти готов».

Бенни замер. Он узнал этот голос. Он слышал его раньше. Много раз. Это был голос человека, который говорил с ним, когда ему было десять. Голос, который сказал ему: «Не бойся. Ты не один. Мы все здесь. Мы все часть эфира». Но теперь голос звучал иначе. Он был не мягкий, а деловой. Как будто говорил не с ребёнком, а с коллегой. Как будто передавал смену.

Бенни нажал кнопку передачи на своей самодельной рации. Он не должен был этого делать. Бабушка говорила, что нельзя перебивать эфир. Что эфир — это не телефон. Что там есть правила. Что если ты влезешь, тебя услышат. Но он хотел знать. Хотеть знать — это единственное, что у него осталось. Он поднёс микрофон к губам. Он не кричал. Он прошептал. Но в эфире шёпот слышен громче крика.

— Кто ты? — прошептал он в микрофон.

Шипение усилилось. Оно стало плотным, как одеяло, которое накинули на голову. Потом голос ответил. Он больше не был один. Теперь их было двое. Один — старый, усталый, из 1987 года. Второй — новый. Моложе. Знакомый. Бенни слышал этот голос раньше — не в эфире, а в жизни. Он слышал его, когда ходил к станции за конфетами, которые оставлял сторож. Он слышал его, когда сторож говорил: «Привет, малыш. Как дела?» Это был голос Джека.

«Бенни. Это Джек. Я теперь здесь. Я теперь часть этого. Ты должен слушать. Ты должен готовиться. Он идёт за тобой. Он идёт за всеми, кто слушает».

Бенни выключил рацию. Руки дрожали. Он посмотрел на лес. Деревья стояли неподвижно. Но где-то между ними, в темноте, что-то мигнуло. Как свет далёкой лампы. Как индикатор на пульте. Как зелёный глаз, который открылся и посмотрел прямо на него. Три раза. Не стук. Просто мигание. Но Бенни понял. Он знал этот ритм. Он слышал его в эфире. Он слышал его в шипении. Он слышал его в собственной голове, когда не мог уснуть.

Бенни встал и пошёл в дом. Он не бежал. Бежать было бессмысленно — лес быстрее. Он просто шёл, ровно, спокойно, как будто делал что-то обычное. Он закрыл все двери. Закрыл окна. Задёрнул шторы. Потом сел в углу своей комнаты, обхватил колени руками и стал ждать.

Он не знал, чего именно. Но он знал, что это придёт. Он знал это так же точно, как знал, что утром взойдёт солнце. Только солнце всходило всегда. А это приходило только к тем, кто слушал. К тем, кто был готов. К тем, кто уже был частью эфира, даже если сам ещё об этом не догадывался. В комнате было тихо. За окном шумел лес. И где-то в глубине этого шума, между веток, между стволов, между мирами, кто-то очень терпеливый считал до трёх.

Джек Райли не умер. По крайней мере, он так думал. Мысль была слабая, тонкая, как паутина, но он держался за неё, потому что держаться было больше не за что. Он стоял в темноте за дверью в конце коридора, и темнота была не пустой. Она была плотной, как вода. Она двигалась. Она дышала. Она не нападала — она просто была, и от этого было хуже, чем от любого нападения. Пустая темнота — это отсутствие. Такая темнота — это присутствие. Что-то, что смотрит. Что-то, что ждёт. Что-то, что знает о тебе больше, чем ты сам.

Он не помнил, как оказался здесь. Память была не размыта, а вырезана — аккуратно, чисто, как будто кто-то поработал скальпелем. Он помнил стук. Три удара. И потом — тишину. Не ту тишину, которая бывает, когда выключаешь радио. А ту, которая бывает, когда ты внутри радио. Когда ты — сигнал. Когда ты не слушаешь, а звучишь. Когда тебя передают, а ты не можешь остановиться. Это ощущение было не страшным. Оно было странным. Как будто ты всю жизнь был голосом, а теперь стал эхом.

Он стоял в аппаратной. Но это была не та аппаратная. Пульт был другим. Старым. Ламповым. Тяжёлым, с металлическими тумблерами и стеклянными индикаторами, внутри которых дрожали тонкие нити. На стене висел календарь: октябрь 1987 года. Бумага была пожелтевшей, углы загнулись, и кто-то обвёл число четырнадцать красным карандашом — не ровно, а с нажимом, как будто хотел прорвать бумагу. За окном шёл дождь. Тот же дождь. Тот же лес. Только лес был ближе. Деревья стояли вплотную к стеклу, и ветки касались его, как пальцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.